

## СЫЧ Рассказ

Нашу школу в городе знали.

За железными воротами тянулся серый и голый, похожий на плац школьный двор. И ни деревца не росло на этом плоском долгом пространстве, ограниченном двухэтажными стенами цвета застиранной гимнастерки. Само здание было приземистым и длинным, с окнами без наличников, точно с глазами без ресниц. Другим своим вытянутым боком школа выходила на Трамвайный переулок, где, плотно схваченные с обеих сторон булыжником, лежали посередине старые, пропадающие от бесполезности и ржавчины трамвайные рельсы.

Я помню время, когда рельсы были нужными, накатанными до сиреневого блеска, а мама, провозжая в школу, говорила мне: «Не катайся на «колбасе»! Еще раз узнаю — отцу скажу. Выпорет!»

Но отец меня не порол, потому что они с мамой были в разводе. Отец приходил часто, приносил мне сладости и удалялся с мамой на кухню решать вечный вопрос о своем возвращении в семью.

Еще помню, как всей школой мы хоронили мальчика по имени Александр. Его задавила трамваем заезавшаяся вагоновожатая. И Сыч тогда шел за гробом, поддерживая его плачущую мать, и плакал сам. Это был единственный раз, когда я видел слезы у Сыча на глазах.

Мальчик Александр в раннем детстве перенес какую-то болезнь и ходил после нее на костылях. Из-за костылей и еще из-за очков мы считали его очень умным и чуждым нашим мальчишеским забавам. Только теперь я, кажется, понимаю, как ему хотелось побегать от кондукторов и вагоновожатых и проехаться сзади трамвая, зажав портфель в зубах. Мальчику Александру, наверное, не хватало нашего азарта, ощущения опасности и риска.

Давно трамвайный парк перенесли на окраину города, и рельсы в переулке ржавеют от своей ненужности людям.

Несколько раз в году нас выводили классами во двор и гоняли туда-сюда строевым шагом. Это называли маршировками.

Школьный завуч Марк Исаевич Гаков по прозвищу Маркиз орал в белый жестяной рупор: «Р-р-рыс, два-ы... Р-р-рыс, два-ы... Л-левой, л-левой...»

Мы лупили подошвами об асфальт, стараясь разглядеть грудь четвертого по счету соседа справа. Разлетались вдребезги лужицы под ногами. И во всех вселялся единый, монотонный, бездумный дух строя и порядка.

Рассказывали, что Марк Исаевич был отставным майором. Выглядел он грозно и смешно. Грозно, потому что по школьным коридорам носился стремительный, пружинистый, стройный. Черные блестящие глаза его смотрели поверх наших голов, но все замечали, придиричиво и раздраженно. Голос часто срывался на крик. Казалось, он каждый день встает не с той ноги, поэтому глубокая темная складка на лбу между сросшимися бровями никогда не сглаживалась. Он и смеялся как-то нервно, болезненно, так что угреватый ястребиный нос еще свирепее загибался кончиком вниз, а смуглый глянцево-блестящий лоб с острыми залысинами покрывался свекольными пятнами.

Смешным его делали губы — толстые, фиолетовые и какие-то пористые. Если смотреть на них сбоку, казалось, что Марк Исаевич вот-вот готов был чмокнуть кого-то в щеку. На верхней губе у него была такая же несглаживаемая складка, как и на лбу. Он даже губами хмурился.

В тот год весна пришла поздно. Воздух был студен, легок и чист. Только что сошел лед с Оки и Орлика, а в классах распустились ветки тополя и вербы, принесенные загодя и поставленные в молочные бутылки с водой. Родители уже договорились на своем собрании, кому из них мыть окна и выставлять зимние рамы. Была середина апреля, и мы кончали седьмой класс.

С неделю нас уже выводили после уроков заниматься шагистикой. Но это было так — пристрелкой. Вместо Марка Исаевича командовал нами учитель физкультуры Юрий Львович Боровков. Он был широкоплеч и сутул. Волосы курчавились и упругим черным каракулем обрамляли мужественное загорелое лицо. Юрий Львович и зимой ходил без шапки. Вообще-то он был строгим, но мы знали, что маршировки ему обременительны. Юрий Львович дважды был чемпионом области по боксу и считал себя настоящим спортсменом. Если у него на уроках кто-нибудь делал то, чем нельзя было делать, Юрий Львович грозил указательным пальцем и говорил: «Щас с левой как притараню!...»

Когда не действовали слова, он подходил к провинившемуся и резко, не давая опомниться, отпускал подзатыльник. Такие подзатыльники Юрий Львович называл «волжаночками». Было не больно, но стыдно, потому что удар сопровождался таким треском и последующим гулом, точно не по голове били, а по пустому чемодану. И волосы потом вставали дыбом.

Юрий Львович вразвалку прогуливался вслед за нашими ребятами и командовал без рупора:

— Раз, два... Левоу, левоу...

Рупор он держал под мышкой и иногда постукивал по нему пальцами.

Когда мы шли к воротам, то видели свои портфели, сваленные кучей вдоль глухой стены. На обратном пути видели окна школы и подвергались безответному унижению дежурных из других классов, которые строили рожи и передразнивали наши движения. Иногда — это были старшекласники — они кидали в нас через форточки мелкие комочки мела.

— Раз, два... — заунывно считал Юрий Львович, глядя себе под ноги.

Я маршировал во второй шеренге между Сашкой Панченко и Наташей Турлай. Мы были почти одинакового роста. Я видел, как при каждом шаге вздрагивала Сашкина щека, покрытая белым пушком, и подпрыгивал белобрысый чуб. Ухо его было малиновым. Сашка дышал ровно, как паровоз на хорошем ходу. Захотелось сделать ему подножку. Я оживился от этой мысли, но, вспомнив, что положенный для шагистики час начался недавно и даже не перевалил за середину, заскучал. Я подумал о том, что праздник не скоро, а маршировать мы будем дольше и усерднее; что для демонстрации предстоит собираться в школе часам к семи утра; что потом, расставив по шеренгам, нам раздадут флаги и ветки с настоящими клейкими листьями и бумажными цветами, прикрученными проволокой; что самым рослым старшекласникам вручат нести впереди колонны транспарант с номером школы; что понтонный мост через Оку будет скрипеть, плавно покачиваться и всхлипывать под нами, а после начнется подъем по булыжной мостовой в гору, между

ветхими домиками, сараями, заборами; что задолго до трибуны нас будут то останавливать, то подтягивать бегом; что воздушные шарики будут скрежетать от трения между собой и часто лопаться, неожиданно и звонко, как поцелуй в ухо, так, что сначала вздрагиваешь и зажмуриваешься, а потом с опаской открываешь глаза и видишь сморщенный лоскуток на нитке; что на балконах украшенных флагами и транспарантами домов обязательно будут торчать веселые, еще не пьяные люди, что на площади мы выравниваемся, подтянемся, возьмем интервал и переложим свой отчеканенный Маркизом шаг на музыку военного оркестра, а мужчина в шляпе, один из многих, стоящих на трибуне, будет кричать сквозь почти несмолкаемое «ура!» все новые и новые приветствия; что, миновав площадь, оглохшие ото всех сразу звуков, измученные собственным старанием, мы уже не в ногу возвратимся в школу, чтобы сдать флаги, транспаранты и прочий инвентарь до следующей демонстрации; что, вообще-то, самый лучший праздник — это Новый год...

— Раз, два... Раз, два, три... Стой! Кругом! Шагом марш! Подтянись. Раз, два... Левой...

Мне захотелось есть. Сашка Панченко совсем покраснел от натуги и прилежности.

— Сколько времени? — спросил я у Наташи Турлай.

Часы в седьмом классе носить не позволяли, поэтому ей пришлось чуть ли не до локтя задрать рукав пальто, расстегнуть кнопки на манжете платья и лишь тогда взглянуть на спрятанные высоко на руке часы.

— Пятнадцать минут осталось...

С Наташей мы сидели за одной партой. В классе считали, что у нас любовь и прочая там канитель, потому что после уроков нас часто видели вместе. Мне даже пришлось подраться с Генкой Макарычевым, который безответно претендовал на Наташу и трепался об этом по поводу и без повода.

Самое смешное, что у нас с Наташей действительно ничего не было. Просто я посредничал между ней и Сашкой Плаховым с нашего двора. Они через меня обменялись запясками, а после встретились и даже ходили в кино.

Марк Исаевич появился неожиданно, пронесся ястребом через двор и взял рупор у Юрия Львовича. На маршировках он общался со всеми только с помощью рупора.

— Р-р-рыс, два-ы... Р-р-рыс, два-ы... Стой! Кр-ругом! Смир-р-рна-а! Контр-рольный пр-роход. Юр-рий Львович, вы наблюдаете сзади, я — сбоку. Пр-ройдете хор-рошо — по домам. Р-р-равнение напр-р-раво-а! Шигам ар-р-рш!..

Снова я видел пунцовую Сашкину щеку, подрагивающую, словно пугавшуюся литых одновременных ударов сорока пар башмаков по асфальту.

— Дер-р-ржать дистанцию! Р-р-рыс, два-ы...

Где-то на середине контрольного прохода щека у Сашки сделалась синюшной и покрылась белыми точечками мурашек. Чуб уже не взлетал в такт шагам, а прилип к мокрому, бледному его лбу. Я почувствовал, что вдоль моего позвоночника скатываются прохладные щекотливые ручейки. Затекали и покалывали плотно прижатые к туловищу руки.

— Р-р-рыс... Р-р-рыс...

Не знаю, как это вышло. Я проморгал начало. Может быть, Сашка Панченко переусердствовал? Я увидел уже, что он ткнулся носом в спину впередиидущего, все еще держа руки по швам, что засемили его ноги, сбившись со счета, и он издал виноватый хриплый вздох:

— О-о-ох-х...

Потом он выправился, нашел ритм, но те, что шли следом, так и не смогли оправиться от столкновения. Это было слышно.

Когда остановились, все тревожно и обреченно уставились на Марка Исаевича. Он молчал, хмурил брови, смотрел, как всегда, поверх наших голов. Обе складки его лица — на лбу и на верхней губе — стали свирепее и глубже.

— Юр-рий Львович, — наконец прорычал он в рупор, — еще полчаса упр-ражнений! Они глину месят, а не перед тр-рибуной идут. Продолжайте!

И тут появился Сыч. Он был маленького роста, поэтому стоял в задней шеренге. Сыч спокойно, не обращая ни на кого внимания, поплелся, насвистывая, к куче портфелей. Я удивился, что он вообще среди нас. Сыч был из тех, которых еще держали в нашей образцовой школе, хотя постоянно грозили выгнать. Он мог в самый разгар урока встать из-за парты и прошаркать к выходу. И если учителя удосуживались полюбопытствовать, куда это он намылился, Сыч или вовсе молчал, или честно признавался: «Покурить...» Мы тут же начинали смеяться. Тогда Сыч оборачивался и говорил: «Извините, но сил моих больше нет!..»

Так же невозможно, покурив, он возвращался и усаживался на свое место у окна. На уроках Сыч любил глазеть на улицу.

Впрочем, не на всех уроках... На математике и физике Сыч себе такого не позволял. Там его будто подменяли, и он внимательно слушал, тянул руку, чтобы ответить первым, и даже смел поспорить с учителем. За это наша математичка Надежда Тихоновна в нем души не чаяла, а преподаватель физики Сергей Викторович прощал ему все другие грехи и вслух сокрушался: как это могут в одном человеке ужиться куча пороков и такая добродетель?! Под добродетелью Сергей Викторович, конечно, подразумевал любовь Сыча к точным наукам.

А когда я однажды относил в учительскую наглядные пособия по зоологии, то стал свидетелем очень любопытного спора между Тamarой Николаевной и Сергеем Викторовичем.

Наша классная ругала Сыча почему зря за то, что тот прогуливает, а физик страдальчески прикладывал руки к сердцу и поминутно перебивал ее.

«Этот мальчик!.. Этот Сычëв!.. — взхлеб лепетал он в приливе восторга и несогласия с Тamarой Николаевной. — Мы его просто не понимаем!.. Вы его не понимаете!.. Он такой нестандартный!.. Так свежо, так необычно мыслит!.. А вы говорите, что он олух... Это, может быть, он у вас олух...»

На этом Сергей Викторович замаялся и замолчал, заметив меня. Их спора я так и не дослушал.

Тамара Николаевна имела в виду, говоря о прогулах Сыча, те случаи, когда кто-нибудь из учителей не выдерживал Сычовой нестандартности и выгонял его с уроков. Тогда Сыч не появлялся в школе неделями. И всегда его приход после таких вот перерывов был в нашем классе событием. Я знал, что мальчишки завидовали его смелости и раскрепощенности. Я тоже завидовал.

Когда Сыч вытаскивал из груди портфелей свою хudosочную папочку, раздался жестяной голос Марка Исаевича:  
— Куда, Сычѐв?

Зря Маркиз задавал этот вопрос, потому что после Сычова ответа поднялся такой хохот! Сыч сказал:  
— Домой...

Мне капельку жалко стало Марка Исаевича. Его залысины заострились, покрылись пятнами, а нос зло и обиженно скрючился. Марк Исаевич вдруг сорвался, чего и вовсе не следовало делать в общении с Сычом, и заорал в рупор:

— Кто тебя отпустил? Вер-р-рнись!

Сыч продолжал, не оборачиваясь, шаркать к воротам. Он держал папочку под мышкой, руки в карманах пальто и сутулился, как маленький старичок.

— Я кому пр-р-риказал?! — ревел уже Марк Исаевич.

Сыч остановился, развернулся всем телом, и его веснушчатое белое лицо расплзлось в ехидной улыбочке. Он всегда так щерился, прежде чем выкинуть что-нибудь дерзкое.

— Не кричите, пожалуйста, — сказал Сыч негромко, но все его слышали. — Мне надоело пылить здесь. Глаза щиплет. А дома хорошо!

Марк Исаевич аж почернел.

— Что-о-о?!.. — сдавленным от гнева шепотом спросил он через рупор и зачем-то взглянул гневно на наши шеренги.

Мы притихли, боясь шелохнуться, но внутренне вздрагивая от переполнявшего нас, едва сдерживаемого хохота. Мы были правильными детьми и хорошо помнили, что можно, а чего нельзя.

— Есть хочу, — объяснил Сыч. — И курить.

Марк Исаевич даже рупор ото рта отнял и беспомощно опустил руки.

Тогда Сыч добавил, обращаясь к нам:

— А вам что, нравится? Хлюпики, кто со мной?

— Тоже мне герой!.. — прошипел Сашка Панченко. Мысленно я рванулся было из строя, но ноги остались верными общей упорядоченной скованности. Было так тихо, что заломило в переносице. Я решил, что я и вправду хлюпик, и покраснел.

Кто-то усмехнулся совсем рядом, сбоку от меня. Я вздрогнул и резко обернулся. Юрий Львович стоял, заложив руки за спину, и исподлобья смотрел на меня.

Ноги мои пошли. Сначала на месте, а после понесли меня из строя, мимо застывших шеренг, мимо Марка Исаевича с опущенным рупором, в сторону сваленных у стены портфелей.

— Ты-то куда?.. — с усталым раздражением, как-то даже, как мне показалось, растерянно прохрипел Марк Исаевич негромко.

— Я тоже...

Марк Исаевич быстро пришел в себя.

— Назад! В стр-р-рой, Колмаков!

Но я уже видел улыбающуюся физиономию Сыча. Ноги несли к ней, как к маяку.

— Возьми портфель, — посоветовал Сыч, когда я приблизился. Я так и сделал.

— Погоди-ка!.. — оглядел Сыч сомкнутые шеренги, словно что забыл там. — Я сейчас...

Он не спеша подошел к Юрию Львовичу, встал на цыпочки и зашептал ему что-то на ухо.

Марк Исаевич нервно посмотрел на часы. Делал он это всегда особенно: высоко поднимал локоть и одновременно резким движением высвобождал часы из-под манжеты рубашки. Затем сердито жмурился, потому что страдал дальновзоркостью, и, разглядев циферблат, так же резко опускал руку.

Юрий Львович наклонился, чтобы лучше слышать. Сыч показал рукой в сторону школьных ворот. Юрий Львович замотал головой, не соглашаясь с чем-то. Упругие завитки его волос не шелохнулись. Снова Сыч стал доказывать что-то свое. Он уже размахивал свободной рукой, пританцовывая на цыпочках. Лицо Юрия Львовича было непроницаемо. Сыч замолчал и посмотрел на него снизу вверх выжидательно. Тогда Юрий Львович распрямылся и громко, растягивая слова и глядя поверх головы Сыча на Марка Исаевича, сказал:

— Собрался уходить — катись! Других не задерживай. Моя бы воля!..

Левая рука Юрия Львовича сжалась в кулак.

— Дело ваше... — пожал Сыч плечами, отвернулся и зашагал ко мне. Мы направились к воротам, вон со школьного двора.

— Колмаков, без р-родителей не пр-р-риходи! — напутствовал Марк Исаевич.

На мой вопрос, о чем был у них с Юрием Львовичем разговор, Сыч не ответил. Только позже я узнал кое-что от Наташи Турлай. Она стояла рядом и слышала.

Оказалось, Юрий Львович курил. Но наверное, он настолько боялся потерять репутацию настоящего спортсмена, что занимался этим в тайне от всех, на стройке, через дорогу от школы. Может быть, он и себе не мог до конца признаться, что никакой он уже не спортсмен, если курит?

А Сыч, видимо, выследил его или случайно заметил.

Так вот Наташа рассказала, что, подойдя к Юрию Львовичу, Сыч шепотом заявил, будто бы знает, где тот прятал сигареты, и уже выкурил без разрешения начатую пачку, а две оставшиеся перепрятал в другое место. По всей видимости, после этого-то сообщения Юрий Львович и наклонился к Сычу, заинтересовавшись. А Сыч предложил ему пойти вместе с ним и обещал показать, куда переложены сигареты. Юрий Львович отказался. Сыч согласился, что не обязательно это делать сразу, пускай марширует. Можно пойти и потом. Он даже заверил Юрия Львовича в том, что сигареты лежат в надежном сухом укрытии и, кроме него, Сыча, никто их не найдет. На это, как я слышал, Юрий Львович посоветовал катиться подобиру-поздорову.

Все происшедшее со мной на маршировке за какие-то полчаса было совсем не" похоже на прежнюю мою жизнь. Я ничего не замечал вокруг. Голова кипела отрывочными, смелыми, отчаянными мыслями. То я думал, как ко всему

отнесутся мать с отцом; то мечтал, чтобы Сыч предложил мне удрать из дому куда-нибудь далеко-далеко; то представлял победное лицо Марка Исаевича, когда мы с мамой будем стоять у него в кабинете; то хотел забросить портфель в Оку и потопить камнями с берега.

Сыч что-то говорил, выпуская клубы папиросного дыма, тут же рвущиеся и тающие у нас за спинами. А я отвечал ему что-то, не слыша собственных слов. И еще я решил, что никогда больше не буду ходить на маршировки...

Сыч с силой рванул меня за руку. Красный трамвай, дребезжа сигнальным звонком, пронесся в полуметре от моего лица. Кожу обдало волной плотного, осязаемого воздуха. Трамвай погромыхал дальше, и в его дрожащем смотровом зеркальце сбоку я различил испуганное и растерянное лицо вагоновожатой.

— Дурак! — крикнул Сыч. — Обалдел, что ли?!

Я обернулся. Его лицо было бледнее обычного, а веснушки сделались отчетливее и многочисленнее.

Сыч потянул меня на тротуар, все еще больно сжимая руку выше локтя. Он выругался и, поставив ногу на урну, стал вытирать пустой пачкой из-под папирос грязь на ботинке. Вероятно, это я наступил, когда он дернул меня от трамвая.

— Прости... — сказал я, краснея, и признался: — Что-то в голову вступило.

— Вступило, вступило... — беззлобно уже ворчал Сыч, поплеывая на носок ботинка. — Сашку Панкрата, помнишь, хоронили?..

Я вспомнил, что много раз видел Сыча и мальчика Александра вместе, да как-то не придавал этому значения. Сыч еще носил его портфель.

Но до сих пор меня удивляет их тогдашняя дружба. Что общего имели маленький калека и известный на всю школу ослушник и шкода? Разве что — чувство одиночества?..

Мы поднимались по улице Пушкина, а навстречу, вдоль тротуара, скатывался мутный ручей, размалеванный бензинными пятнами и несущий на своих крошечных тягучих волнах окурки, гнилые веточки, прошлогодние листья, обгорелые спички. Обрывки промасленных тряпок волочились, то и дело застревая на булыжнике мостовой и создавая запруды.

Сыч рассказал, что мальчик Александр решал задачи по физике и математике из учебников для старшеклассников, что дома у него был аквариум на двенадцать ведер с водорослями, улитками, глотиками, желтым песком и всевозможными рыбками. Мальчик Александр мечтал жить у моря. А когда его схоронили, родители разбили аквариум и раздали рыбок, чтобы не вспоминать.

Мы свернули в грязный узкий переулок, по обе стороны которого вросли в набухшую от талой воды землю серые деревянные домики с палисадниками под окнами. Сыч шел осторожно, как кот, старательно задирая ноги и делая аккуратные, рассчитанные прыжки с одного сухого места на другое. Часто он останавливался, мысленно прокладывая предстоящую дорогу, оборачивался, ища меня глазами, и, прижав покрепче папочку, продолжал путь.

Наконец мы преодолели тесный проход между двумя дощатыми заборами и очутились на сухом асфальте улицы Московской. Здесь Сыч хорошенько оббил от неминуемой грязи ботинки, закурил и как-то приосанился.

— Заскочим на минутку? — кивнул он на большой дом с высокой, в два этажа, аркой. — Знакомая у меня тут. Дело есть...

Мы поднялись на третий этаж по каменной лестнице. На панели было выцарапано: «Вера — дура!»

Я ухмыльнулся, показывая Сычу на надпись.

— Сами они дураки! — раздраженно буркнул он, останавливаясь возле одной из дверей и прикуривая погасшую папиросу.

На звонок открыла женщина, молодая, с красивыми бегающими глазами. Она посмотрела на меня, на Сыча, опять на меня и улыбнулась.

— Здравствуйте, тетя Юля! — сказал Сыч, вынув папиросу изо рта.

— Здравствуйте... Здравствуйте... — как мне показалось, растерянно пробормотала тетя Юля и шире растворила дверь. Улыбка на ее лице на мгновение увяла, но тут же снова расцвела. Только теперь тетя Юля улыбалась как-то натянуто, через силу. — Проходите... Разувайтесь...

— Мы не помешали? — поинтересовался Сыч, снимая пальто. Тетя Юля пододвинула нам тапочки.

— Как мама? — спросила она Сыча.

— Наверное, дома. — Сыч расшнуровывал ботинки. — А мы шли мимо... Заскочили...

«Хорошенькое мимо!... — подумал я. — Такой крюк сделали...»

Тетя Юля провела нас в комнату и усадила в кресла. Потом, извинившись, зачем-то вышла. Сыч встал, подошел к окну и потушил папиросу. Стеклянная пепельница стояла на подоконнике. Я разглядывал свое отражение в черном глянце брюхе пианино.

— Мы здесь надолго? — спросил я, когда мне надоело это занятие. Сыч меня не слышал.

Я повторил вопрос.

— А? — вздрогнув, отозвался он. — Да нет... Не знаю... Я сейчас ничего не знаю...

Мне показалось, что Сыч покраснел, но разобрать этого толком я не смог. Сыч стоял у окна, на фоне яркого неба. Его фигура рисовалась почти силуэтом, и цвета лица не было видно.

— Хотите чаю? — появилась тетя Юля.

Теперь она улыбалась свободно и даже как-то снисходительно. Я обрадовался чаю, но Сыч сказал вдруг:

— Мне надо поговорить с вами.

— Со мной? — удивилась тетя Юля. Красивые черные ее брови изогнулись капризно.

— А что тут такого? — подошел к ней Сыч, и я увидел, что уши его горят.

— Нет... Ничего... — помрачнела тетя Юля.

— Выйдем в другую комнату, — предложил Сыч. — Хотелось бы наедине...

В это мгновение Сыч выглядел неожиданно собранным, резким, порывистым. Ноги его не стояли на месте, а как-то пружинисто переступали из стороны в сторону. Сыч был похож на прыгуна в высоту, готовящегося к борьбе с планкой.

— Какая разница? — опасливо улыбнулась тетя Юля, отступая назад и загораживая собой дверь. — Здесь... Там... Саша, ты какой-то странный сегодня!

Но Сыч будто не замечал нежелания тети Юли уходить из комнаты.

— Нужно! — решительно заявил он и, прошмыгнув мимо настороженной тети Юли, юркнул в коридор.

Тетя Юля кинулась следом. Дверь осталась открытой.

— Саша, прекрати свои загадки! Зачем?.. — Раздраженный, капризный голос тети Юли ничего хорошего не предвещал.

— Вот здесь и поговорим... — Голос Сыча дрогнул. Очевидно, не хватило Сычу решительности.

Потом наступила тишина, недолгая, но томительная. Секунда, две, три... Руки мои вцепились в подлокотники кресла. Побелели ногти от напряжения. Я чувствовал, что Сыч затеял что-то даже для него не совсем обычное, может быть, опасное, но пока не понимал что и сильно волновался за него.

— Здравствуйте... — услышал я потерянный, слабый голос Сыча. Но тут же голос его окреп, сделался почти железным, холодным, как у Марка Исаевича, когда тот рычал в свой рупор.

— Нам надо поговорить с тетей Юлей! Наедине! Разве не понятно? — рыкнул Сыч. — Вы нам мешаете!..

Там был кто-то третий. Кто?

— Конечно, конечно... — насмешливо сказал третий. Это был мужчина. — Я выйду, и вы поговорите. Что же делать, если надо?..

Шаги приблизились, и в комнату, где я сидел, вошел парень с ухоженной рыжей бородкой. Он подмигнул мне и, разведя руками, сказал:

— Такие пироги, старик... Я встал ему навстречу.

— Пошли на кухню чай пить? Это, кажется, надолго... — обратился он ко мне, будто мы уже были давно знакомы. — Как тебя, кстати, зовут, старина? — спохватился он. — Меня — Гришей...

Я представился.

Проходя мимо комнаты, где находились Сыч с тетей Юлей, я разглядел через неприкрытую дверь Сыча. Он стоял в профиль ко мне. Лицо его было красным и сосредоточенным. Что-то шепотом говорила ему тетя Юля, но слов нельзя было разобрать. К тому же Гриша, шедший за мной следом, тут же прихлопнул дверь. И уже ничего не стало слышно.

Гриша усадил меня на кухне в самый укромный уголок, между белым обшарпанным буфетом и столом, покрытым старым шерстяным одеялом. На столе стоял носом вверх уют, и шнур от него спускался до пола. Кипел на плите зеленый эмалированный чайник.

Гриша по-хозяйски надел желтый клеенчатый передник, свернул одеяло со стола, составил уют на подоконник и стал заваривать чай.

— Юля гладить собиралась... — пробормотал он, споласкивая кипящей водой фарфоровый чайничек и насыпая в него заварку.

Я кивнул.

Гриша залил чайничек кипятком и сел напротив меня за стол. Мы помолчали, глядя друг на друга. Но вдруг Гришу прорвало. Он затараторил что-то необязательное, что-то о том, что чай — полезный, хорошо утоляющий жажду напиток, еще про сосуды сердца и мозга, про работоспособность и общий обмен веществ...

— Да, старик, чай — это тебе не кофе! — говорил он. — Кофе — напиток грубый. А чай, если это цейлонский или индийский!.. Я тебе сейчас заварю, сам попробуешь! — И ни с того ни с сего спросил: — Вы с Сашей одноклассники?

— Да.

— У него прекрасная мама, — сказал Гриша и принялся нарезать хлеб и мазать его маслом.

Я не знал матери Сыча, поэтому промолчал.

— Шесть минут прошло, — зачем-то посмотрел Гриша на часы, что висели над холодильником. Это были ходики с гирьками на цепочках. — Ты, старик, вприкуску или как все? Я сахар имею в виду...

— Как все, — сказал я.

Гриша разлил чай по чашкам, придвинул ко мне тарелку с бутербродами.

— Когда чай сладкий, — назидательно объяснил он, — не слышно его аромата. На Чукотке заваривают сразу три пачки чая на трехлитровый чайник и пьют без сахара... Я там шабашил два лета.

— Что такое «шабашил»? — спросил я.

Гриша не ответил. Он вдруг привстал с табуретки, перегнулся через стол ко мне и тихо спросил, изобразив на лице нечто таинственно-комическое :

— Не знаешь, что там задумал твой дружок?

Я разглядел его бородку близко. Волосок в ней был уложен к волоску, аккуратно до приторности. На носу у Гриши красовался такой же аккуратный красный прыщик. Прыщик был маленький, блестящий.

Гриша нетерпеливо тоненько хохотнул, словно заблел. Щеки его зарумянились, залоснились в улыбке. И даже прыщик как будто тоже еще сильнее засиял. Я подумал, что Гриша похож на него, на свой прыщик.

— Не знаешь?.. — переспросил Гриша все с той же таинственной ухмылкой. — А я, кажется, догадываюсь!.. Он Юле в любви объясняется! Я сразу заметил, что Саша на нее смотрит... Странно как-то... Ревностно! Неужели твой дружок думает, что Юля к нему может относиться как-то иначе, чем как к сыну своей подруги, как к школьнику?.. Скажи ему, что он ошибается... Что он смешон, наконец! — Гриша, кажется, начинал злиться. — В самом деле, старик... — зашептал он уже сердито. — Ей двадцать лет... А ему сколько? Сколько, я тебя спрашиваю?!

Я промолчал, потому что мне ужасно не нравился этот Гриша и было обидно за Сыча.

— Ему четырнадцать!.. Или пятнадцать!.. — перешел Гриша с шепота на крик. — А туда же мне!.. «Вы нам мешаете!.. — передразнил он Сыча. — Нам наедине нужно поговорить!» От горшка два вершка! А ты что не ешь ничего?

Мне так захотелось чем-нибудь поддеть Гришу, что я встал и выпалил:

— Не хочу я ваши бутерброды! И чай не хочу вприкуску! И как все не хочу!..

Тут в кухню стремительно вошел Сыч, и я не успел посмотреть, как подействовали на Гришу мои слова. Лицо у Сыча было свекольного цвета. Я только заметил боковым зрением, что Гриша опустил на табуретку.

— Пошли отсюда! — сказал мне Сыч.

— А как же чай? — сдерживая смех, спросил Гриша.

Сыч подошел к столу, открыл крышечку заварного чайника, понюхал поднявшийся пар и сказал:

— Чай расширяет сосуды. Так, кажется, вы всегда говорите? Он тебя уже просветил, — обратился Сыч ко мне, — что лучше всего цейлонский, а уж на крайний случай индийский?..

Мне стало смешно, потому что Гришину улыбочку как ветром сдуло. Он стал мрачным, и какая-то мелкая, мстительная гримаска скользнула по его лицу.

— Он сказал, что шабашил на Чукотке, — в тон Сычу проговорил я. — А что такое «шабашить» — не объяснил...

— И что чай там ведрами глушат? — уточнил Сыч. — Так это Андрей Палыч рассказывал. Что же вы, Гриша, присваиваете чужие слова?

Гриша покраснел, и теперь его прыщик совсем нельзя было отличить. Он слился по цвету с красным Гришиным лицом.

В коридоре стояла задумчивая тетя Юля. Она улыбалась чему-то своему, глядя застывшими глазами в одну точку. Я проследил за направлением ее взгляда и уткнулся в одежную щетку, висевшую на стене.

Мы с Сычом обулись и оделись. Появился из кухни Гриша в переднике и с чашкой в руке. Он уже оправился, остыл, побледнел. Выражение его лица было постным.

Открыв дверь. Сыч пропустил меня вперед.

— До свидания, — сказал я тете Юле. Она промолчала.

И тут случилось неожиданное.

Сыч подскочил к тете Юле, — которая все еще пребывала в томной задумчивости, сложив руки на груди, — стал на цыпочки и поцеловал ее в щеку.

— Саша!.. — испуганно вскрикнула тетя Юля, но мы уже были на лестничной клетке.

Мельком я успел посмотреть на Гришу. Чай из наклоненной чашки проливался ему на передник, на брюки... Тетя Юля захлопнула дверь.

Спускаясь, Сыч заметил чье-то умозаключение: «Вера — дура!» и остановился. Он порылся в карманах пальто, достал гвоздь и нацарапал рядом: «...и Юля тоже!»

Лишь на улице сошла краска с его лица и проступили веснушки.

Сыч жил с матерью в двухкомнатной квартире недалеко от железнодорожного вокзала. У них был большой, как копилка, тростниковый кот с сиреневыми глазами, который так и не дал мне себя погладить. Он с птичьей легкостью взлетал с пола на диван, с дивана на бельевого шкаф и вообще вел себя самостоятельно и непокорно, как и его хозяин. Впрочем, у такого кота и хозяина-то было трудно предположить. Он всем видом своим говорил, что живет сам по себе. Кота звали собачьим именем Тобик. Сыч объяснил, что кота ему подарил друг их семьи Андрей Павлович, привез из очередной поездки. Я так и не понял, кем был этот Андрей Павлович по профессии, а спросить не решился.

— Ма, мы ушли с маршировки, — сказал Сыч матери после нашего с ней знакомства. — Дай поесть.

Я думал, обедать будем на кухне, но Антонина Павловна накрыла в комнате. Все было чинно, торжественно, как в ресторане, когда родители брали меня с собой. Только там мама то и дело шикала на меня за то, что я неправильно себя вел. Здесь мамы не было, а ресторанные мои познания ограничивались тем, что вилку почему-то, — видимо, для большей чопорности и неудобства — надо держать в левой, а нож в правой руке до тех пор, пока не кончишь есть. Больше ничего я не вспомнил и стал наблюдать за Сычом.

Тот на удивление лихо обходился со столовыми приборами. Борщ исчезал у него во рту бесшумно ложка за ложкой, тогда как я свистел, булькал и чавкал. Мне было стыдно, но я ничего не мог поделать. А как Сыч съел салат, лучше и не вспоминать. Потому что с моей вилки лук и нарезанные листья салата все норовили соскользнуть на скатерть. Что там норовили — они только и делали, что соскальзывали, оставляя на белой скатерти жирные пятна сметаны. Я краснел, лепетал что-то, даже один раз попробовал слизать упавшую зелень. Пришлось оставить салат недотронутым. Сыч как будто не замечал моих мучений, и от этого было легче. Наверное, в моих руках массивные серебряные ложка, вилка и нож выглядели неповоротливее набухших гребных весел.

— Вообще-то, ты мне давно нравишься, — заявил Сыч доверительно. — Ты не трус! Я видел, как вы с Генкой Макарычевым дрались. Он ведь здоровый...

Антонина Павловна вышла на кухню, и я спросил:

— Мать знает, что ты иногда не ходишь в школу?

— Привыкла. Ма, что на второе?

— Утка, — крикнула Антонина Павловна.

Мы с Сычом уплетали борщ со сметаной. Возможно, из-за обилия салфеток, тарелок и тарелочек, из-за того, что мы сидели вдвоем за большим овальным столом и все сильно смахивало на ресторан, мне показалось, что вкуснее борща я в жизни не ел. А тут еще намаялись с этой дурацкой шагистикой...

С уткой все обошлось просто. Мне понравилось, что ее надо есть руками.

Антонина Павловна сидела на диване и беспрестанно курила папиросу за папиросой. Дым поднимался и уплывал в открытую форточку. Диван был какой-то особенный, с гнутыми ножками, с резным деревянным ободком по спинке. Такой или наподобие я видел в городском краеведческом музее.

Вообще мебель в квартире Сыча была старинная. Я это сразу отметил, как вошел.

— Саша, ты сегодня бледный, — сказала Антонина Павловна неожиданно громко.

Я совсем забыл, что Сыча зовут Сашей. Сыч да Сыч... Но теперь он был таким домашним, что это звучало естественно. Сашей его, конечно, называли и тетя Юля, и Гриша, но они произносили его имя скороговоркой, и звучало оно в их устах все равно что Сыч. А Антонина Павловна сказала с теплом и тревогой в голосе.

— Я рыжий, — усмехнулся Сыч, — на мне не видно бледности.

— Ты плохо растешь, потому что куришь, — сделала вывод Антонина Павловна и закашлялась. — Вы курите,

Виктор?

Я ответил, что не курю, и покраснел. Ко мне обращались на «вы» второй раз в жизни. Первым был одноногий тирщик Никитич. Его тир размещался в старом автобусе на спущенных колесах у кинотеатра «Победа».

«Задерживайте дыхание, молодой человек, когда на спусковой крючок нажимаете, — сказал мне тирщик, когда я пришел к нему в первый раз — Берите под яблочко».

Тогда я тоже покраснел, так как считал обращение к себе на «вы» чем-то непристойным.

«Что такое «яблочко?»» — спросил я тогда, чтобы замаять неловкость и вообще.

Позже я узнал, что Никитич ко всем обращается на «вы», и успокоился.

— Поэтому вы на голову выше Саши, — заключила Антонина Павловна.

Сыч вытер губы салфеткой.

— Спасибо, — сказал он матери. — Мы пойдем гулять.

— На улице, кажется, свежо, — сказала Антонина Павловна. — Надень кашне, Саша. И возьми с собой ключ. Я забегу к тете Юле и, возможно, останусь ночевать у Андрея Пальча...

— Тетя Юля умерла! — зло выпалил Сыч и весь подобрался, спружинился на стуле. Его губы распрямылись в узкую бледно-розовую полоску.

Антонина Павловна, принявшаяся было убирать со стола, поставила поднос с посудой и испытующе взглянула на Сыча.

— Нехорошо так шутить, Саша... — сказала она, видимо совсем не уверенная в том, что Сыч шутит.

— Ее уже нет! — выдавил Сыч сквозь стиснутые зубы. — Нет! Нет!.. Там не пробиться! А теперь заправляет этот Гриша. В фартуке...

— О господи!.. — выдохнула Антонина Павловна, опускаясь на диван. — И сон мне сегодня был... Плохой...

Она вдруг вскочила, побежала в прихожую, зачем-то вернулась, хромая в одной туфле, стала рыться в белье шкафу.

— Ты понимаешь, что говоришь? — почему-то посмотрела на меня Антонина Павловна. — Что же ты сразу не сказал? Как пришел?..

Сыч молчал, и я отвел взгляд.

Кот Тобик созерцал происходящее безучастными сиреневыми глазами.

Антонина Павловна снова кинулась в прихожую и через минуту появилась уже одетая, с клетчатым зонтиком в руках.

— Прощайте, мальчики... — выпалила она задыхаясь. — Бегу!

— До свидания... — промямлил я, краснея. Для меня все эти слова, беготня, причитания были не совсем понятны. Было в них что-то стыдное. А главное — Сыч так сказал матери про тетю Юлю, что даже я на мгновение поверил, что она умерла. Или у них там была еще одна тетя Юля?

Сыч кивнул матери, не поднимая головы.

Антонина Павловна забыла закрыть наружную дверь, и сквозняком подняло занавески на окне. Слышно было, как каблуки пробарабанили по ступенькам и гроыхнула дверь парадной внизу.

Кот спрыгнул со шкафа на диван, с дивана на пол и уверенно, с независимым видом направился в прихожую. Вероятно, решил податься на улицу.

— Пошли и мы... — сказал Сыч устало и поднялся из-за неубранного стола. — Портфель тут оставь. После заберешь.

Когда мы одевались, я спросил:

— Зачем ты наврал?

— Но ведь ее нет! — вскрикнул Сыч. — Правда нет! Понимаешь? Он с ожесточением начал зашнуровывать ботинки. Я заметил, что пальцы его дрожали. Он долго возился, и я, уже одетый, стоял в ожидании.

Он вдруг поднял голову и как-то просительно посмотрел мне в глаза. Я даже растерялся от этого взгляда.

— Ты уже любил кого-нибудь? — спросил Сыч, сидя на корточках. — По-настоящему?..

Я пожал плечами, потому что не знал, что ему ответить.

— Любил? — спросил Сыч настойчиво.

— Маму... — сказал я.

— А-а-а... — отмахнулся он. — Я не о том!

Мы отправились на вокзал смотреть, как маневровый паровоз собирает вагоны в состав. Нашу железную дорогу давно электрифицировали, и черные, измученные одышкой паровозы трудились только в пределах станции.

Сыч сел на корточки на еще не совсем просохшем пригорке и закурил. Пальцы его по-прежнему дрожали, и он долго не мог попасть концом папиросы в трепетное спичечное пламя.

— Будешь? — мрачно спросил Сыч, щурясь от дыма. Я отказался.

Когда мне было шесть лет и отец еще жил с нами, я уже пробовал курить. Отец предложил сам, заметив, что я с интересом поглядываю на его папиросы.

— Это гадость, — сморщился он. — Можешь проверить. Я решил проверить.

Отец объяснил, что надо выпустить весь воздух из легких, зажать в губах папиросу и втянуть дым.

Я даже не закашлялся, как обычно рассказывают, а тихо сел на пол и тут же стравил только что съеденный обед. Когда о случившемся узнала мама, в доме состоялся очередной скандал. Но отец оказался прав: я до двадцати лет терпеть не мог табачного дыма.

Паровоз, скрытый от нас составами и станционными постройками, толкал вагоны, и они почти бесшумно катились под горку, разбегались по разным путям, чтобы неожиданно и пронзительно, с трескучим ступенчатым эхом столкнуться с другими вагонами и стать звеном угрюмой грязно-коричневой цепи. К месту сцепления подходил рабочий в оранжевой фуфайке и гроыхал какими-то железками.

Я чувствовал, что Сыч маяется чем-то, но спрашивать не решился. Он сам начал, неожиданно и некстати, — просто глухо забубнил что-то, не глядя на меня. Только сосредоточившись, я вник в смысл его слов.

Оказалось, тетя Юля год назад подружилась с матерью Сыча. Она была студенткой и приносила Антонине Павловне что-то перепечатывать на машинке. И Сыч втюрился в нее по уши.

— Всего на шесть лет старше меня... — пробурчал он, попыхивая папиросой.

И вот сначала у нее никого не было и Сыч ходил к ней почти каждый день. Тетя Юля здорово разбиралась в математике и физике, потому что училась в машиностроительном институте. Сыч даже с ее помощью стал подбираться к высшей математике. Но потом появились ее однокурники, а главное — какой-то Петя. Тетя Юля перестала заниматься с Сычом. Потом Петя исчез. Сыч снова зачастил к ней. Но не тут-то было!.. На прошлой неделе, когда они с матерью и Андреем Павловичем пришли к тете Юле в гости, застали уже этого Гришу с рыжей бородкой. Гриша работал в газете и сильно этим гордился. Правда, перед Андреем Павловичем, который объездил весь белый свет, он сник, но это ничего не спасало. Тетя Юля смотрела на Гришу широко раскрытыми глазами. Сыч понял, что у них все только начинается, поэтому решил опередить Гришу, объясниться. Да все никак не мог отважиться...

— Опоздал... — заключил он, вставая, выбросил окурочек на шпалы и сплюнул сквозь зубы. — Мне не везет... Пошли к паровозу.

Машинист был седой, засаленный и чумазый и казался частью большой шумной машины. Мы приблизились, и он махнул Сычу рукой. Потом крикнул что-то, но голос растворился в шипении, скрежете и хрипе.

Возле паровоза было страшно. Сыч взял меня за руку и потащил к лесенке, ведущей в будку. Поручни, за которые я хватался, поднимаясь вслед за Сычом, оказались маслянистыми, скользкими и отполированными, точно никелированные. Внутри еще один прокопченный коренастый человек, значительно моложе машиниста, швырял совковой лопатой мелкий уголь в разинутую пасть топки. Казалось, он с ложки кормит ненасытное разъяренное чудовище и, если на мгновение прекратится эта трапеза, произойдет нечто ужасное и смертельное, вроде землетрясения. Пламя в топке было красно-зеленым, и свежие угольки прощально мерцали, отбрасывая своими гранями этот зловеющий утробный свет.

Машинист протянул нам серую руку, и мы с Сычом по очереди пожали ее.

Рука, как и поручни, покрыта была тонким слоем масла и тоже выskalывала.

— Лешка! — крикнул машинист. — Уймись.

Отставив лопату, парень улыбнулся нам. Сверкнули его белые зубы на смуглом чумазом лице.

Огненная пасть топки захлопнулась, но внутри ее продолжалось напряженное тревожное урчание.

Лешка крикнул Сычу на ухо:

— Привет, рыжий! Друга привел? Сыч кивнул.

— Страшно? — спросил меня машинист. Я отрицательно замотал головой.

— Чего ж застыл и побелел весь?

— Гудит! — скосился я на топку.

— Живая! — крикнул машинист и легонько потрепал волосы на моей голове.

Сыч взял лопату и, нажав педаль внизу, открыл топку. Лопата была велика, и ручка ее торчала из-под мышки. Сыч стал кидать уголь. Все выходило у него ловко и даже изящно. Сыч был своим среди этих больших, чумазых, бесстрашных людей.

Я приблизился к топке, и ноги обдало жаром. Лешка достал откуда-то медный чайник и пил прямо из носика, подставляя рот под тоненькую витую струйку. Машинист, высунувшись в окно, на ощупь нажимал, подкручивал, отпускал разные блестящие рычаги, краны и вентили.

Мы съездили на другие пути, подхватили несколько вагонов и повезли впереди себя. Высунувшись в другое окно, я увидел, как дым валит из широкой трубы, а тень от него рваными пятнами мчится, не поспевает за нами по шпалам соседнего пути.

Паровоз остановился, и дальний вагон стал быстро уменьшаться в размерах, убегая от нас под горку. Мы подали назад и снова вперед. Еще один вагон отделился в момент остановки и побежал уже по другой ветке. Сцепщик, в оранжевой фуфайке, с флажком под мышкой, стал закуривать.

— Нравится? — спросил, наклонившись, Лешка.

— Во! — показал я большой палец.

Машинист остановил паровоз, и они с Лешкой сошли на землю покурить и размять ноги. Машина утробно гудела и временами вздыхала, выбрасывая клапанами небольшие порции пара. Мы с Сычом остались в будке.

Честно говоря, я хотел тоже выйти, но Сыч задержал меня за руку, и пришлось сесть на лавочку под окошком.

— А хочешь, вдвоем поедем? — спросил Сыч отчаянным голосом.

— Не надо, Сыч! — вскочил я с лавки. — Влетит...

— А-а-а!.. — Сыч воровато зыркнул в окошко на седого машиниста, Лешку и сцепщика, которые расположились на штабелях черно-бурых, пропитанных битумом шпал. — Была не была! Смотри-и-и!..

Паровоз затрясся, выдохнул под колеса тугое непроницаемое белое облако и тронулся с места. Побагровев от напряжения, Сыч тянул на себя рычаг и одновременно другой рукой нажимал на блестящую рукоятку.

Я рухнул на лавку, вцепился руками в ее края и заорал что было мочи что-то непонятное и страшное.

Облако осталось позади и быстро таяло. Из него выскочил Лешка. Паровоз набирал ход. Завибрировала лавка подо мной, уши заложило. Но Лешка все-таки сокращал расстояние и неумолимо приближался. Я орал на одной ноте.

Сыч смотрел вперед. Его рыжий чуб встал козырьком под напором встречного воздуха. Сузились глаза.

Лешка вскочил на подножку, подтянулся на поручнях, поднялся в будку и, оттолкнув Сыча, кинулся к рычагам управления. Я перестал орать. Движение замедлилось, прекратилась вибрация. Затихло шипевшее, гудевшее, скрежетавшее старое тело паровоза. Машина стала, тяжело отдуваясь клапанами после неожиданного пробега.

— Сволочь ты, рыжий! — крикнул Лешка, оскалив зубы. — Какого черта машину уродуешь? На манометр погляди, на манометр!.. Давление под завязку!..

Сыч стоял, опустив голову. А я-то плохо о нем сначала подумал, решил, что он теперь убежит. Сыч не двигался с места.

— Малого вон перепугал, — кивнул Лешка на меня. — Спросить не мог? Тебе что, запрещали тут много?



Машинист тяжело поднялся по ступенькам, молча подошел к Сычу и вlepил ему подзатыльник. Сыч вздрогнул, но головы не поднял.

— Больше не приходи! — сказал машинист и закашлялся. Обойдя паровоз сзади, мы поплелись через пути к зданию вокзала.

На мои вопросы Сыч не отвечал и глядел себе под ноги. Так и дошли до его дома.

Сыч открыл дверь, и тут же откуда-то снизу появился Тобик. Он опередил нас и, задрав хвост, прошествовал в квартиру.

В комнате стрекотала пишущая машинка, но, когда Сыч прихлопнул дверь, она смолкла.

Антонина Павловна вышла в прихожую.

— Мальчики?.. — спросила она дрожащим голосом. — Проходите, Виктор. У меня срочная работа подвернулась... Но Саша вас накормит...

Я сказал, что тороплюсь, что мама, наверное, волнуется, и взял с пола портфель.

— Ма... — сказал Сыч глухо, не поднимая головы. — Ты прости меня за сегодняшнее. Я не нарочно...

— Саша, я просто не заметила, что ты вырос. Господи, все повторяется... Все повторяется...

Антонина Павловна всхлипнула, достала из рукава халата маленький кружевной платочек и промокнула глаза.

— Простите, Виктор... — сказала она торопливо и ушла в комнату. Сыч проводил меня до остановки автобуса. Не знаю почему, но мне очень захотелось побыстрее уехать, оказаться дома, а там — будь что будет. Я понял, что устал от Сыча.

— Где твой отец, Сыч? — спросил я, чтобы не молчать.

— Не знаю. Может, его вообще не было?.. У меня Андрей Палыч... Мы больше не разговаривали.

— Пока... — сказал Сыч, когда подошел мой автобус. Я помахал рукой уже со ступенек.